

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 16

1954



В. СТЕФАНИК

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

ЛНБ ім. В. Стефаника



00081386 (Q)

Мара Верман

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 16

В. СТЕФАНИК

РАССКАЗЫ

Перевод с украинского

Н. Ляшко

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1954

ЗБІРКА
ДЕРКАЧІВ

Львів. Ін. П. Стефанівка
Дер 495

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда перечитываешь рассказы Василия Стефаника, очень высоко оцененные А. М. Горьким за страшную их правдивость, то прежде всего вспоминаешь «Мужиков», «В овраге», «Новую дачу» Чехова, очерки Глеба Успенского. Чехов и Успенский писали о русской дореволюционной деревне, Стефаник — о деревне западноукраинской, влачившей жалкое свое существование в монархической Австро-Венгрии. Но общего у них очень много. Совершенно различными писательскими почерками, с беспощадной искренностью и беспредельной любовью изображали они невыносимо тяжелую, беспросветную крестьянскую жизнь того времени. С любовью — это надо подчеркнуть.

Прямота Чехова, Успенского, Стефаника раздражала читателей либерального и народнического толка. Еще бы! Вся неприглядная, темная, мрачная, грязная жизнь дореволюционной деревни показывалась читателям во всей суровой наготы. Лакировка действительности была органически чужда Стефаннику, как и Чехову, и Успенскому, и Короленко, и Льву Толстому, и Коцюбинскому, и Ивану Франко. Они нигде прямо не говорили о социальных условиях, порождавших уродливые явления в крестьянской жизни, но мало-мальски внимательный и честный читатель понимал это и без слов. Если сравнить, скажем, рассказы Стефаника с мопассановскими новеллами о французской деревне, то сразу ощущается разница в мировоззрении. Василий Стефаник был плоть от плоти и кость от кости трудового народа. Он болел его болью, страдал его страданиями.

Творчество Стефаника трагично, потому что трагической была современная ему жизнь.

Основная черта Стефаника — потрясающая простота. Вспомни: хотя бы начало его рассказа «Новость»:

«По селу разнеслась весть, что Гриць Летучий утопил в речке свою дочь. Он хотел утопить и старшую, но та отпросилась».

Дальше выясняется, что безысходная нужда была причиной преступления Гриць Летучего. На просьбу детей: «Отец, мы хотим

есть» — он ответил: «Ешьте меня...» Только очень большой художник, о котором Горький сказал: «как кратко, сильно и страшно пишет этот человек», — способен был на такую изумительную сжатость.

Иван Франко назвал Стефаника «абсолютным господином формы». Это глубоко и метко. Палитра Стефаника была богата, но он никогда не щеголял красками. Тем большее впечатление производили его строго взвешенные и до конца продуманные образы.

«Все село поет, белые хаты несмело улыбаются, окна пьют солнце».

Или же это страшное: «Ждете смерти, как птица дождя».

Та часть Западной Украины, между реками Прутом и Черемошем и Карпатами, которая носит название «Покутье», родила в дореволюционное время трех замечательных писателей: Леся Мартовича, Марка Черемшину и Василя Стефаника. Они были единомышленниками и личными друзьями. Совершенно, однако, неосновательно объединяли их некоторые литературоведы, как представителей одной «школы». Певучие, ярко колоритные рассказы влюбленного в покутский диалект Черемшины, сатирические, в щедринской манере писанные произведения Мартовича очень далеки от стиля стефаниковских новелл. Общее у них одно: тонкое знание жизни галицийского крестьянства и безграничная к нему любовь.

Творчество Василя Стефаника — мы это уже говорили — глубоко трагично. Но ему чужд пессимизм. Он верил в светлое будущее народа, в «великую песню борьбы» (см. помещенный в этой книжке рассказ «Дорога»). Мы имеем прямые свидетельства, что Василь Стефаник от всей души приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Умер писатель за три года до исторической даты — воссоединения Украины в единой Советской республике, неотъемлемой составной части Советского Союза. Но он страстно чаял этого дня, он неутомимо и пристально следил за успехами молодой Украинской Советской Республики, за жизнью советского народа, за достижениями горячо им любимой русской литературы.

Мы чтим память Василя Стефаника как замечательного писателя и гражданина, кристально честного человека.

М. РЫЛЬСКИЙ

В «Библиотеке «Огонек» (№ 46, 1948 г.) был издан сборник В. Стефаника, включавший его рассказы: «Кленовые листья», «Поджигатель», «Письмо», «Подпись», «Вечерний час», «Поле», «Каменный крест», «Военные убытки», «Дед Гриць».

М А И

Данило ждал у белых ворот, глядел, как вор, в господский сад и не решался войти.

— Разве я знаю, можно ли туда входить? А если выбежит и даст по морде, — откуда я знаю, что не даст?

Чистенькие, ровные дорожки шли по господскому саду, и он боялся, что за ходьбу по этим дорожкам его изобьют, а пройти во двор можно было только по ним. Вот он и ждал у ворот.

Все мужики — а их много миллионов — умеют долго и терпеливо ждать. Если барин в канцелярии, они ждут стоя. Пусть их соберется неведомо сколько, они не дадут о себе знать. Стоят тихо, лица их становятся каменными, осмысленное выражение постепенно исчезает с них, стекает куда-то на плечи, под рубахи. В стоячем сне они бесчувственны, бесконечно равнодушны, и чиновник среди них похож на черную муху, залезшую в густой мед. Крайнему, тому, что стоит у стола чиновника, хуже всех: он не может погрузиться в спячку. Он ежеминутно широко раскрывает глаза и тревожно оглядывается. За ним соседи протирают глаза, оглядываются, и беспокорство переднего передается остальным, вплоть до последнего, того, что оперся о печь. Тот, что стоит у стола, как ветер на ниве, что тревожит все колосья от дороги до межи.

Если чиновника нет в канцелярии, мужики садятся на корточки. Хорошо полчаса отдохнуть, — хорошо, если хоть одна рука или одна нога отдохнет. Сползаются и приседают в самых разнообразных положениях. Только шапки держат бережно, чтобы не измять. Когда ладно устроятся, начинают шептаться:

- Кабы трубкой подымить немного.
- Бросьте, ну ее!
- А табак у вас покупной?
- А у меня на огороде растет.

— Молчите, а то еще кто-нибудь услышит, да...

Все тянутся руками за пазухи, еще дальше, чуть не на спину, прячут табак: вдруг на беду кто-нибудь обыщет. Шепот стихает, лица деревенеют, на губах показывается слюна, головы клонятся долу. Но если окажется среди них кто-нибудь нетерпеливый, он, как тот, крайний, что у стола, никому не даст спокойно посидеть. Или рука у него занемеет, или его кольнет что-то в спину — он не выдержит и пошевелится. За ним задвигаются соседи, и равновесие сбитых в кучу локтей, плеч рушится. Все начнут наново укладывать ноги и руки, и вновь какой-нибудь несчастный случай все разрушит.

— Какие бывают беспокойные люди, господи! — скажет кто-нибудь из терпеливых и сомкнет веки.

Так ждут все они.

Так ждал и Данило у барских ворот, хотя и был один. Его одолевали сонливость, равнодушие, и мысли цеплялись друг за друга. Когда он шел к барину, у него был ясный план. Он увидит барина, снимет шапку и пойдет к нему так, как аист ходит по лугу, — осторожно, чтоб господского камушка ногой не обидеть. Когда подойдет совсем близко, уставится глазами на пана и будет глядеть так, чтоб барин подумал: «Это какой-то очень бедный». Потом приложится к руке, поцелует ее с обеих сторон, лбом дотронется до ладони и немного отступит назад. Опустит низко плечи, швырнет шапку на землю, вытрет рукавом губы и скажет:

— Я пришел к пану наниматься. Туго мне перед жнитвом, детей имею четыре души, а земли маленький кусочек. Должен наниматься, а работу я всякую знаю — всю жизнь в батраках. Прошу божьей и вашей милости, чтоб мы договорились и чтоб пан заплатил мне часть натурой сейчас же, чтоб мог я отдать жене, детям, а на работу я готов стать хоть сейчас.

Первое слово барина будет такое:

— Ты, видно, вор?

— Я, пане, даже стебелька чужого не тронул.

— Зачем врешь, поганец? Чтоб мужик да не крал, кто этому поверит? Разве ты не мужик?

— Я совсем простой мужик, но чужого не люблю брать.

— Так ты, верно, пьяница?

— Я с водкой не вожусь, не на что пить.

— Брешешь, как пес! Да ты без водки умер бы.

— Без водки не умру, а вот без хлеба. пожалуй что...

— Уж очень ты умно отвечаешь, значит, был в тюрьме, там тебя научили уму-разуму.

— Пускай меня бог хранит! Я полжизни прожил, а нога моя в тюрьме еще не бывала.

— А зачем ты столько детей наплодил?

— Это от бога, барин.

— Это поп научил тебя отвечать так?

— Я с попом не вожусь, для этого деньги нужны, а мне даже в церковь не в чем ходить.

— Так ты, значит, радикал и не даешь попу с себя шкуру сдирать?

— Если б я и хотел дать что попу, то не дам, потому что у меня ничего нет, а он хотя бы и хотел содрать с меня, не сдерет, потому что нечего сдирать. Вот мы и не сходимся...

Данило заранее знал, что пан сначала должен смешать его с грязью, насмеяться над ним, а уж потом взять на работу. Дорогой он был уверен в себе, а здесь, у ворот, заколебался. Он был из другого села и не знал, как войти на панский двор. Кругом чистое поле, спросить не у кого — и вот ждал. Его ясный план спутался, он чесал затылок и робко заглядывал в сад. «Они этими дорожками гулять ходят, ишь, как усыпали песком».

Глаза его долго блуждали и остановились наконец на павлине, который сверкал во дворе перьями: «За этот хвост можно крейцер иметь, если забежать да намотать его на руки... А вот едят ли его мясо, не знаю».

Он окинул взором постройки: «У этого пана земли достаточно, да и хорошо обрабатывает ее. Да-а, и куда он все девает?»

Его мысли разбежались в стороны: «Весна такая хорошая, веселая, что эх!»

Больше он ничего не замечал. Сидел, как столб, и чувствовал, что уснет. Чтоб отогнать сон, он широко открывал глаза, тер рукою лицо и похож был на несчастливую борца, который вот-вот сдастся на милость врага. Прилег на один бок и хотел устроиться так, чтоб можно было не то спать, не то ждать. Потом вытянулся во весь рост и закрыл глаза. Не проспал и минуты, как какой-то голос шепнул ему:

— Спи, спи под панскими воротами, кучер так опояшет тебя кнутом, что кровь брызнет.

Он вскочил, испуганно глянул по сторонам и стоял, как подстреленный. Постоял немного, махнул рукой и пошел от ворот в поле. Забрался в траву и лег спать. Снились ему и барин, и его руки, и песчаные белые дорожки. Барин говорил ему, чтоб он надел шапку. но он не хотел делать этого.

«Я, прошу прощения, бедный человек, я не могу перед вами надеть шапку на голову, потому что я бедный, такой бедный человек...»

Сладкий сон навесал эти видения, и Данило спал спокойно.

Солнце смеялось над ним, обливало его лучами и ласкало, как родная мать. Цветы целовали его черные нечесаные волосы, кузнечики перепрыгивали через него. А он спокойно спал, и черные ноги и черные руки его казались приделанными к его загорелому, кирпичному телу.



СИНЯЯ КНИЖЕЧКА

Этот Антон — во-он пьяный кричит на выгоне — всегда был каким-то неудачливым. Все уплывало из его рук, а в руки не шло ничего. Купит корову — та сдохнет, купит свинью — на нее хворь нападет. Вечно так получалось.

Когда у него умерла жена, а за нею два сына, он стал сам не свой. Пил и пил; пропил кусок поля, пропил огород, а теперь и хату продал. Продав хату, взял у старшины синюю батрацкую книжечку и хочет идти куда-то наниматься, искать себе службу.

Сидит пьяный и перебирает, чтоб все село слышало, кому он продал поле, кому огород, кому хату:

— Продав — и аминь! Не мое — и конец! Не мо-о-е! Если б дед поднялся из гроба!.. Батюшки, четыре быка, как жирные монахи, двадцать четыре морга поля, хата на все село! Все имел, а теперь что имеешь?

И Антон показывает селу синюю книжечку.

— Ой, пил и еще пить буду! На свои кровные пью, никому до этого дела нет. А он говорит мне: «Эх, ты-ы, разве ты человек? Просвистал землю!» Печать к книжечке прикладывает да ругается, учит. Э-э, я не таких старшин видал, как ты...

Чтоб тебе умирать было так легко, как мне теперь жить!

Иду из хаты, совсем ухожу. Поцеловал порог и иду. Не мое — и конец! Бей, как пса, гони от чужой хаты! Можно: прошу! Было мое, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит, лес словами говорит: «Вернись, Антон, в хату вернись, человек...»

Антон бьет кулаками в грудь так, что гуд идет.

— Знаете, такое горе обняло меня, такое горе! Вхожу опять

в хату. Посидел, посидел и выхожу... Не мое, что я могу сказать, раз не мое?..

Дай бог моим врагам так умирать, как мне свою хату покидать.

Выхожу во двор, так нет же, заморочило. На хате зеленый мох, крышу надо чинить. Камень — вода... Не я тебя, хага, буду покрывать. Камень... Кабы камень, и он треснул бы от горя!..

После этих слов Антон стал бить кулаками по земле, будто по камню.

— Сел я на завалинку. Еще покойница обмазывала, а я тачками глину возил. Только хочу встать, а завалинка не пускает. Я от нее, она не пускает. А меня горе печет, нет, не горе, пропадаю я. Сижу и реву, так реву, будто с меня кожу ремнями сдирают. Люди сбегаются глядеть на позорище...

Вон там, у ворот, поп прощальное слово говорил над покойницей. Все люди плакали. Порядочная, говорит, жена была, работающая...

Переворачивайтесь в гробу, покойники мои: я подлый человек. Пропил все до нитки. И полотно пропил. Слышишь, Марья, и ты, Василек, и ты, Юрчик: теперь отец будет ходить во вшивых рубахах и разным господам воду носить...

Антон показывает на хату старшины.

— Вот старшениха — хорошая женщина. Вынесла мне хлеба, вынесла украдкой, чтоб старшина не видел. Пусть бог твоим детям помогает. Пусть бог всем вам даст лучшее, чем мне.

Какое я имею право сидеть на чужой завалинке? Иду. Только встал я с нее, а окна в плач. Заплакали, как маленькие дети. Лес им нашептывает, а они слезу за слезой роняют. Заплакала надо мною хата, как ребенок над матерью... Так заплакала...

Обтер я полою окна, чтоб не плакали напрасно, и пошел совсем.

Ой, легче камень грызть! Потемнел свет передо мною...

Антон обводит вокруг себя рукой:

— Есть еще вот денги, и я буду пить. Со своими людьми напьюсь, с ними последнее пропью. Пусть знают, как я из села уходил!

Глядите, у меня за пазухой синяя книжечка. Это и моя хата, и мое поле, и мои огороды. Иду с нею один на край света! Книжечка от цесаря, и всюду передо мною двери открыты! Всюду! У панов, у подпанов, у крещеных и некрестей...



ОЗИМЬ

По селу растекается, плывет тонкими струями, разлетается на брызги один голос — осенний сельский звук. Он обнимает и село, и поле, и небо, и солнце, — протяжная, грустная песня переливается на вспаханных полях, шелестит сухими травами меж, вьется в черных пластнях и вместе с листвою падает на землю. Все село поет, белые хаты несмело улыбаются, окна пьют солнце.

На одном из огородов зеленеет заплата озимой ржи. А возле нее на тулупе лежит белый, как молоко, мужик. Очень старый, с померкнувшими глазами. Рядом с тулупом его палочка, тоже очень древняя, — ее дужка вся вылощена ладонью. Солнце греет его так, будто, кроме него, ему на земле больше никого греть.

Старик заслушался осенней песни и сам мурлычет, словно ребенок. Он говорит, а орех-дерево то и дело бросает на него широкие листья. Белые мотыльки играют над ним, им хочется сесть на белые дедовы волосы. Он поет, бормочет, а соседские петухи слушают и подтягивают ему.

Он бранится со своей смертью.

— Тебя мне не нужно, — пищит он солнцу, — не улыбайся мне. Мне нужны яма и четыре доски. Зря пропадает твоя работа. Ты найди себе молодого, а мне пошли смерть. Она, собака, забыла деда.

Хорош косарь, нечего сказать! Колос поспел, склонился, землю целует, почернел уже, а косарь ждет. И чего? Думаешь, пойду еще танцевать? Я свое отбыл, я доволен, мне больше ничего не надо. Возьми себе пушинку духа, какая осталась во мне, и отпусти из-за стола, я сыт...

А может, война где-нибудь идет и смерть там бегают? Там гибнет такое молодое, что только целуй, а возле меня что она найдет? Пустую коробку. Ты не толкайся среди молодых, ты бери то, что тебе в рот смотрит. Молодой пусть хозяйничает, детей до ума доводит, — он от тебя не убежит. Хотя он и на войне, ты его не трогай. Сгребай в яму то, что надо туда сгребать.

Вот руки... — Он поднес близко к глазам руки. — Ну с чем тут жить? Такие старые ошметки, что ими прошлогоднего постела не залатаешь. Что ты этой рукой можешь сделать? Подожди, не дрожи, раз я говорю. А тело где? Я его съел, что ли? Я его не обгрызал. А если мое тело съела, то пусть и кости берет. Доедай, или не надо было начинать...

Если у меня есть руки, то я иду своей дорогой, и моя дорога сотней тропинок разбегается по полю. Я картошки накопаю, я кукурузы набираю, я зернышко посею, — я все руками сделаю. А без рук я дурень, если хочешь знать. Это не штука сделать из человека нивесть что и гулять потом сломя голову! Нет, ты бери меня на плечи и положи на место, где мне надо лежать...

На поле появляются куры и клюют зеленя.

— А, кш... Изрублю на капусту! Ты не гляди, что я старый, такого зверя я еще одолею, еще одолею. Или вам нечего во дворе есть?

Старик встает, опирается на палку и идет на озимь.

— Хорошее, зеленое, а вы гадите его. Земля всегда молодая. Она, как девка: праздник — она нарядится по-праздничному; рабочий день — она наряжена по-будничному и всегда девует, всегда, от начала мира и солнца.

Приседает среди зеленой озими, опирается на палку и молчит. А вокруг грустно поет село, вербы кидают в него сухими листьями...



КАТРУСЯ

Когда Катруся приходила в себя, мать подсаживалась к ней и жалобно говорила:

— Катруся, до каких пор ты, бедная, болеть будешь? Денег у нас уже нет, новых скоро не заработаешь, вставала бы ты. Я все деньги отнесла ворожеям, но толку нет. Правда, ворожея угадала, что делается у нас дома, какая у тебя болезнь, но ее коренья не помогают. Должно быть, нет тебе выхода...

Катруся лежала неподвижно. Водила сухонькой рукой по лицу. Ногти у нее были такие же синие, как ее глаза, и казалось, что по ее лицу бродит много синих чудесных и огнистых глаз. Всеми этими глазами Катруся глядела на мать и соглашалась с ее жалобной речью.

— Ой, нет, бедная доля, нет спасения! Отец совсем затовал. В голове у него забота: на что будем хоронить тебя? Как посмотрит на тебя, чернеет от тоски. Мы, Катруся, уже все прожили. Муки только на дне осталось, ни одного зерна нет возле хаты... и ни ломаного гроша. Если ты умрешь, мы совсем на мели останемся. Хотя бы до осени бог побережет тебя. Ой, девонька, девонька, и себя и нас ты связала...

Мать принялась расчесывать Катрусю волосы.

— У тебя страшный жар; ты так кашляешь, что пускай бог хранит. Ни сорочки надеть на тебя, ни расчесать, ни умыть. Боже, боже, как мы горько мучаемся! Прошу бога, чтоб он половину твоей муки на меня переложил, и не могу допроситься.

Слезы матери катились на катрусини волосы и скрывались в них, как вода в песке.

— Что с тобой случилось? Такая ты была хорошая, а работница — на все село. Мы радовались, думали, нам легче с тобой будет, а теперь гляди, как легко. Хотя бы еда была хорошая, а то вянем на картошке, а ты и совсем пропадаешь. Тяжело ходить по хатам за молоком; столько уж ходила, что неловко людям показываться...

Мать заплетала косу.

— Не знаю, зачем я цветов тебе накупила? Отвалила на них два гульдена, как в болото. Должно быть, этими цветами я тебя на смерть уберу.

Обе заплакали.

— Дайте, я погляжу на них.

Мать подала Катрусю синие, белые, зеленые и красные цветы.

Катрусю разглядывала их, губы ее робко улыбались, и от цветов по лицу бродили синие, белые, зеленые и красные отсветы.

— Отец идет, давай скорее цветы, а то гляди, скажет, что у тебя в голове еще девичий ветер бродит...

Катрусю положили на воз, чтобы везти к доктору. Мать, плача, подкладывала ей под голову подушку.

— Чтоб я не дождался лечить вас! Чтоб вы передохли! Я сразу похоронил бы вас и вздохнул...

Держал вожжи и в ярости рвал на себе волосы:

— А ты, развалина, помни: если я деньги даром докторам развею, я тебе аминь сделаю! Я тебя без доктора схороню, я сам тебе буду доктором! Откуда я возьму и на вас, и на докторов, и на аптеки, и на черта рогатого? Мои руки не в силах выдержать этого, ой, не в силах! Нанял воз, но лучше бы везти на могилу, свалить там — и конец. Боже мой, что это нашло на меня сегодня? Ну, дохлая, двигай худыми боками!

Стегнул лошадь кнутом и выехал за ворота.

Катруся с любопытством оглядывала улицу. С осени многое переменялось. Дядя Семен поставил новый плетень, старый Никола заново покрыл гумно. Катруся забыла ругань отца и глядела по сторнам.

В поле люди пахали, сеяли. Над ними пели жаворонки. Черные борозды отваливались от лемехов и рассыпались под солнцем.

Катруся покраснелась и думала: «Нет, я скоро встану, и весна у меня не пропадет зря. Сразу найду себе работу... Боже, дай мне лекарства!..»

Она была уверена, что скоро будет работать. Отец сидел на передке воза и долго молчал. Наконец заговорил:

— Денек выдался, как золото, а ты ездил по докторам...

Обернулся к Катрусе:

— Скажи ты, дочка, что мне делать с тобой? Лежишь ты, лежишь, и нет тебе ни жизни, ни смерти. Я денег занимаю, занимаю, но все впустую. Если б я знал, где лекарство от твоей болезни, я искал бы, а так, ну, что я знаю? Скорей бы уж сюда или туда. И тебе лучше, и нам лучше...

Катруся заплакала.

— Да, бедная моя, не надо плакать, ведь это же правда! Ты умрешь — и нет тебе заботы, а мне... Теперь такая легкая жизнь, что лучше умереть и не горевать больше на чужом поле. Я много уже должен, займу и на похороны, а на старости лет меня из хаты за долги выгонят. Эх, если б я знал, что ты не вылечишься, сейчас же повернул бы к дому! Эти деньги остались бы на похороны...

Катруся задыхалась от плача и кашляла на все поле.

Отец вынул из-за пазухи яблоко и несмело подал его дочке. Он никогда еще не давал ей никаких лакомств.

— Не плачь, бедная, я тебе не враг. Я к тому говорю, чтоб зря деньги не тратить и себе вреда не делать, раз это не поможет. Ты сама, дитятко, видишь... Я для тебя палец отрублю и не пожалею. Меня люди из-за тебя уважают так, будто ты парнем была, потому ты работница на все село. Я дул на тебя, как на пеночку, а вижу, что умрешь ты. Глазам видно, нет тебе выхода. Ой, бедная, как мы будем горевать без тебя! Ой, будем, будем!..

Старик умолок.

— Ой, умру, умру, вижу, нет мне спасения! — шептала Катруся.

Въезжали в город.

Обратно с ними ехал сосед Никола.

— Он мне столько напел, что ой-о-о! Нет, мужику к докторам не гоже ходить. Если б, говорит, она много молока пила да мясо какое-то легкое ела, чтоб желудок подправить, да хлеба белого... Все, что только на свете есть, все припомнил. Может, в господской жизни оно и помогло бы, а в нашей не поможет. Как начал он читать, как начал, я и не дослушал до конца. Ну что с того, если б я дослушал? Пускай умирает так, как есть. Пускай выпьет лекарство, какое я в аптеке купил, и пускай либо выздоравливает, либо как хочет...

— А вы думаете, — заговорил сосед, — что доктора дают мужикам такое лекарство, как и господам? Чтоб они так здоровы были! Мужику даст чего-нибудь — ну, и спасайся. Разве ему хочется для мужика хорошего лекарства поискать? С барином он каждый день здороваётся, а с мужиком что?

— Хотя бы надоумил кто, а то ведь наше дело какое? Поцеловал руку и жди, когда скажет: «Давай деньги».

— Лучше всего было бы выведать все у старой Иванихи. Она пошла раз к доктору, начал тот осматривать ее, а она напрямки: «Ой, — говорит, — господин доктор, дайте мне последнее лекарство. Я, — говорит, — женщина бедная, не имею на что лечиться, дайте мне последнее лекарство». Доктор, вижу, уставился на нее и говорит: «А ты откуда знаешь?» «Ой, — говорит баба, — откуда знаю, то знаю, но дайте мне рецепт на последнее лекарство». Как начала, как начала, доктор и дал. И по сей день баба на ногах.

— А если ума не хватило допытаться у него? Вы думаете, с барином можно говорить так, как хочется? Сказал слово, другое, да и собирайся — марш!

— Пошла баба с тем рецептом в аптеку, подала аптекарю, а сама, хитрая, глядит, как он будет лекарство приготавливать. Как капнул он, говорит она, того лекарства на ладонь, оно насквозь прошло. Но ведь достать такого лекарства из сотни одному удастся. А мужикам нужно крепкое лекарство, чтоб или туда или сюда.

— Эх, глупый я, не расспросил бабку, как настоящего лекарства просить! Деньги истратил, а не поможет. Плохо сделал.

— А может, вашей девке уже нет выхода. Гляньте, как она горит. Ничего уж не будет из нее, как из листа, что оторвался от дерева...

— Ой, не будет, не будет, и деньги зря пошли! Кабы я Ивануху расспросил...

— Да, видите, то лекарство, может, от другой болезни. Аптекарь вон свою аптеку имсет, но тоже умирает...



БЕДА

У Романихи заболела корова. Лежала на соломе и страдальчески глядела огромными серыми глазами. Ноздри дрожали, кожа морщилась; вся она дергалась в жару. Веяло от нее болезнью и мукой, страшной, немой. В таких случаях больше всего жаль, что скотина не может заговорить и пожаловаться.

— Сразу видно, что не жить ей. Может, я и помог бы чем, если б болезнь была от плохой крови, но на нее кто-то дурным глазом глянул, — чтоб они у него вылезли! — вот и нельзя помочь. Положитесь на бога, может, он смилостивится.

Так говорил Илаш, который смыслил в скотине.

— Ой, Илаш, видно, не жить ей, но раз ее не будет, то и меня не надо. Я весь век мучилась, чтоб коровы дожждаться. Без мужа осталась, сын умер в солдатах, а я работала день и ночь, кровавым потом обливалась. Зимние ночи длинные, я до утра пряду, пальцы вспухают, глаза будто пеленой застилает. Один бог знает, как я тот грош добывала, пока не накопила на корову.

— Да, бедному, видно, всегда так: хоть по локти сотри руки на работе, а толку не будет! Так уж устроено. Что делать? Надо как-нибудь жить.

— Ой, не знаю, что делать, кто совет даст?

— А вы как-нибудь выберите денек да закажите обедню. А то сходите на богомолье к Ивану Сучавскому, говорят, очень помогает.

— Ой, и обедню закажу, и на богомолье пойду к Зарваницкой божьей матери, и к Ивану Сучавскому!..

— Может, говорю, бог вам поможет, если положитесь на него. Пускай вам бог пошлет всего лучшего...

Илаш ушел.

Романиха села возле коровы и, как бы отгоняя от нее смерть, не сводила с нее глаз. Подносила ей самого лучшего корма, но та не ела, только глядела на хозяйку и распаляла в ней тоску.

— Маленькая, маленькая, что у тебя болит? Не оставляй старуху без ложки молока. Порадуй меня хоть немного.

И гладила корову по лбу, по шее и голосила над нею:

— Где, где уж мне собрать на другую? Ни пальцев сложить, ни нитки в иголку вдеть не могу. Где мне на старости лет заработать на корову?

Корова дрожала. Романиха покрывала ее своим тулупом и, раздетая, стояла над нею на морозе, стучала зубами, но не отходила.

— А может, это бог за грехи так карает меня? Не раз я из-за тебя, бедная, грешила. Там на чужой меже пасла тебя, там тыкву для тебя тайком сорвала, там травы нащипала. Но ведь я никому молока никогда не жалела. Где ребенок заболел, где женщина лежит после родов, я иду с горшочком, несу молочко. И творогу давала людям... Господи, не карай меня так, бедную вдову! Больше ничего чужого не трону, только оставь мне корову!

До поздней ночи голосила Романиха над коровой. Кропила ее свяченой водой — не помогало. Корова вытянула во все стойло ноги, вскидывала боками, ревела. Старуха гладила, обнимала ее, приговаривала, но помочь ничем не могла.

Месяц через дверь освещал хлев, и старуха видела каждое движение коровы. Наконец корова встала. Еле держалась на ногах. Оглядела стойло, словно прощалась с каждым уголком; затем рухнула на солому и вытянулась, как струна. Романиха упала перед нею на колени и в беспамятстве растирала ее тряпкой. Корова вдруг заревела и начала лягаться. Романихе стало жарко, в глазах пожелтело, и она, окровавленная, повалилась на землю. Корова била ее ногами.

Обе боролись со смертью.



СЕМЬЯ ЛЕСЯ

Лесь, как обычно, украл у жены немного ячменя и нес его в корчму. Не шел, а бежал и все оглядывался.

— Ого, уже гонитея с пострелятами, чтоб вы головы себе расшибли! Успеть бы в корчму вбежать, а то догонит — опять будет крик на все село...

Он заторопился с мешком на плече. Но жена с сыновьями догнала его у самой корчмы и вцепилась в мешок:

— Ой, не удирай, ой, не беги, не уноси того, что я собрала с детского поля!

— Ты, поганка, что?! Опять хочешь кричать, чтоб все слышали?! Постыдилась бы!

— Стыда за такого хозяина, как ты, у меня не было и не будет! Давай мешок и убирайся! А не дашь, будем бить, дети будут бить тебя посреди села! Пускай позор будет на весь свет! Отдай!

— Ты, старая тварь, что, или сдурела? Да я тебя и пузанов твоих перевешаю!

— Андрейка, сынок, только по ногам, только по ногам, пускай ваш хлеб по кабакам не разносит! Бейте его так, чтоб ноги сломались! На калеку мы заработаем, а на пьяницу нам не наработать...

Так говорила она сыновьям. Те стояли с палками и робко глядели на отца. Андрейке было около десяти лет, а Иванку около восьми. Они не смели приблизиться к отцу и бить его.

— Бей, Андрейка, я буду держать его за руки. Только по ногам, только по ногам!

И ударила Леся по лицу. Он ответил ей так, что изо рта у нее потекла кровь. Тогда к нему подбежали сыновья и начали бить его по ногам.

— Крепче, сынок! Перебейте ему ноги, как собаке, чтоб он волочил их за собой!

И плевала кровью и синела от натуги, но продолжала держать Леся за руки. Сыновья, осмелев, как щенята, подбегали к нему, били его по ногам, отбегали и вновь били. Казалось, они забавлялись, казалось, они играли... Из корчмы выбежало несколько человек.

— Эй, да такого еще никто не видел с тех пор, как мир стоит! Глядите, как бьют его! Еще молоко на губах не обсохло! Срам на весь мир!

Мальчики били Леся, как помешанные, а Лесь и Лесиха, окаменелые, окровавленные, не трогались с места.

— Эй, пареньки, да вы надорветесь!

— Надо было взять палки подлиннее, чтоб удобнее было доставать...

— Бейте отца по голове, в самый разум, в темя!

Так выкрикивал один из пьяных.

Лесь бросил мешок и ошалело глядел перед собою: такой расправы он не ожидал и не знал, что делать. В конце концов он сбросил с себя свитку и лег на землю.

— Андрейка и ты, Иванко, идите и бейте меня, я не ше-

Дер 495

вельнусь. Вы еще маленькие, вам тяжело подбегать. Гей, бейте!..

Сыновья стояли в стороне и с удивлением глядели на отца. Затем бросили палки и стали глядеть на мать.

— Почему же ты не заставляешь их бить меня? Я ведь лег... Бейте...

Лесиха заплакала и раскричалась на все село:

— Или я, люди, виновата?! Я задыхаюсь с детьми в поле на сухом хлебе, но все, что я заработаю, он тащит в корчму. Я, люди, из-за него ничего не могу заработать, потому что не могу хаты оставить. Он зарится даже на последние тряпки в хате. Что подвернется, все тащиг в кабак на водку. Я не могу зарабатывать и на детей и на кабатчиков. Пускай будет все, что угодно, но я терпеть больше не в силах...

— Да бейте же, пальцем не шевельну!

— Пускай тебя бог побьет, ты век наш по ветру пустил и детей осиротил. Ты нас так бил, что мы никогда, как волю из ярма, из синяков не выходим. Я уже горшков не могу в хате держать — ты все бьешь. Сколько раз я с детьми ночевала на морозе? Сколько ты одним выбил? Я ничего тебе не говорю. Пускай тебя бог накажет за меня и за детей. Ой, какую я жизнь вымолила себе у бога! Люди, не удивляйтесь, вы не знаете всего...

Вскинула мешок на плечо и, как подбитая птица, заковылала с детьми к хате. Лесь лежал на земле и не шевелился.

— Вот пойду на грех, на вечный грех пойду! Раз! О таком никто не слышал и не услышит. Такое устрою, что земля содрогнется!

Лежал и злобно посвистывал...

Лесиха перенесла все из хаты к соседям. На ночь легла с детьми на огороде, в бурьяне: боялась, что ночью придет пьяный Лесь. Детям постлала мешок и укрыла их тулупом. Сама дрожала возле них в свитке.

— Детки, детки, что будем делать? Может, сегодня я постлала вам в последний раз? И помрете, а позора не снимете с себя. И я не в силах вымолить вам прощения...

Плакала и прислушивалась, не идет ли Лесь.

Небо дрожало вместе со звездами. Одна из них скользнула в темноту. Лесиха перекрестилась.



ВЕСТНИКИ

То будут старые, бедные вдовы, или их внуки, или старые деды, что ютятся возле своих детей и каждый день чувствуют, какая они тяжесть в хате, или молодые женщины с маленькими детьми, мужья которых ушли в город и забыли о них. Они вереницей будут идти в поле, мимо крестов, которых теперь уже не скрывает зелень, будут оставлять за собой блестящие, гладкие дороги и расходиться по серому, монотонному жнивью: дети будут искать колосья, а старшие выдергивать корни сухого бурьяна.

И дед Михайло пойдет со своими внуками: двумя мальчиками и, старшей среди них, Оксаной. Мальчики будут, как жеребята, то обгонять деда, то отставать от него, а Оксана будет идти рядом с ним. Он будет нести драную, грязную дерюгу на плечах и покашливать, Оксана будет держать в руке хлеб для мальчишек и для себя. Будет это в полдень, и дед скажет Оксане:

— Это солнце, деточка, уже с холодком.

Они будут идти, идти и остановятся на одном из полей. Дед станет у межи, Оксана пойдет серединой поля, а мальчики начнут искать норки зверьков, кнуты и ножички, погрянные пастухами.

Оксана будет поднимать каждый найденный колосок и складывать их в левую руку, а когда пучок станет большим, положит его у овражка, чтобы потом легче было найти. Она обойдет все рвы и ямки — в них чаще попадают колосья. Сто раз в минуту будет наклоняться и вглядываться, как старательная труженица. Вскоре перед ее глазами начнут мелькать желтые или синие пятна или одна половина поля будет обычной, а другая станет зеленой. Она остановится, прикроет ладонью глаза и с минуту будет так стоять. Потом быстро отнимет от глаз руку, и марево исчезнет. Или она запоет песенку, запоет только для себя, потихоньку, с большим стыдом и ясной радостью оттого, что она уже умест петь. Будет выводить звук за звуком и слово за словом, робко и неуверенно, как ребенок, который учится ходить и с радостью касается чистыми ногами земли. А если найдет колос, оборвет песенку и вновь затянет ее. А дед возле межи будет говорить:

— Что-то мешает мне дышать, а что, не знаю. Если б разрезать грудь да выпустить оттуда запекшуюся кровь, то я, может быть, еще пожил бы немного. — И будет выдергивать

коренья и будет кашлять, садиться. Во время работы в его голове будут проплывать мысли об осени, о зиме, о весне. В голове заройтся такое, что он забудет о кореньях, о кашле.

«Когда зимою в хате тепло, не так есть хочется. Встанешь рано, отметишь снег от порога, наберешь кореньев, наложишь их в печь, затопишь — в хате сразу веселее станет. Катерина сварит супу с пшеном, встанут дети, а для них уже есть ложка горячей еды, печь теплая, и тебе, старику, с ними тепло. Если лучшего нет, то и так хорошо. Коренья, если они сухие, хорошо греют».

И дед старательно, с большой охотой будет выдергивать коренья. А мысль будет догонять мысль, и он не сможет отогнать их.

«Не умереть бы, пока мальчишки подрастут. Я б рассовал их по людям, чтобы каждый работал на себя, а глупая женщина... что она знает? Только плакать. Я б их поставил на дорогу лучше, чем она».

Затем он позовет внуков. Они подбегут к нему с выдолбленной тыквой.

— Эй, парни, а вы почему Оксане не помогаете?! А есть хотите? Идите, возле нее немного поиграйте, а то ей скучно.

Внуки пойдут к Оксане, а дед будет дальше разматывать свои думы: «Парни здоровые, рослые, только бы дождаться годов. Меньший замысловатый, как дед. На зиму просит сапоги. А то, говорит, ему на печке нехорошо. Сколько смеху с ним! Если помрет, осиротеет...»

Дед будет глядеть и на солнце — низко ли опустилось оно, и на коренья — достаточно ли он надергал их? Потом позовет Оксану помогать сносить коренья и отряхивать с них землю. Они сложат их в ворох и станут колотить палками. Столб пыли поднимется над ними, дед будет кашлять, Оксана — зажмуривать глаза, а внуки — есть хлеб. В этот час солнце будет клониться к закату. Из окружающих сел долетит на поле звон колоколов и будет стлаться с вечерней росой по жнивью. На дорогах заблеют овцы и закричат пастухи, на полях пахари будут выдергивать из борозд плуги и собираться домой. Из долин поднимется синий туман. Воронье стаями потянется к селу, в сады, собаки уже не смогут ловить на полях перепелок и побегут к домам.

Дед Михайло будет креститься, стряхивать с рубахи пыль и кашлять. Потом сложит коренья на дерюгу, внуки помогут ему поднять их на плечо и выйдут на дорогу. Оксана будет нести снопики собранных колосьев, а внуки будут

совать за пазухи выпавшие из дерюги коренья. Пока дойдут до дому, пазухи их вздуются, а животы станут грязными от пыли.

...По селу все они будут идти устало — и бедные вдовы, и их внуки, и деды, и молодые женщины, которых покинули мужья, — все с надерганными на полях кореньями, со снопами собранных колосьев.

Они возвещают, что наступает осень.



ОСЕНЬ

Дмитро латал женины сапоги. Не латал, а стягивал дыры — грех было отдавать такую рванину сапожнику да и деньги вывелись. А жена босая, воды не в чем принести. Поэтому Дмитро спозаранку принялся за сапоги. Сидел у скамьи против окна, обложенный кусками старой кожи, вошил нитки на дратву и злился, как пес:

— Ей богу, брошу в печь, швырну в огонь и развяжусь! Кожа перегорела, ниткой не стянешь... вот-вот порвется. Выбрось в мусор да плюнь, и все!

Приговаривая так над сапогами, Дмитро все же с великим старанием зашивал дыры. Продев дратву сквозь кожу, тревожно глядел, не порвалась ли. Работа шла медленно, и он сердился.

— Железо не кожа, да и то стирается, что уж тут говорить! Уже четыре года как куплены, этой осенью четыре года — конец им. Но эту зиму они во что бы то ни стало должны еще послужить...

И латал, и сердился, и сто раз собирался бросить сапоги в печь или в мусор.

Дмитриха сидела на лежанке и латала рубахи.

— Расползлись на части. Конопли не посеешь: под хлеб земля нужна, — полотна не купишь: денег нет. Дойдет до того, что голыми будем ходить. Залатаешь в одном месте — в другом прорвется. Если б не стирать их, может, не так рвались бы. Как следует я уж не стираю их, но паутина так и остается паутиной. Прямо не знаешь, как чинить, с какой стороны приниматься за них!

С такими мыслями сидела Дмитриха над ворохом тряпья, внимательно вглядываясь в рваные рубахи, и худое лицо ее

было безрадостным. Грубое рваное полотно с потертыми красными вышивками было похоже на одеяние солдат, вернувшихся с войны, а она на милосердную сестру, что с грустью и сомнением хочет чем-нибудь да помочь несчастным раненым.

— Ну, зиму еще как-нибудь переходим, но лето — бог знает! — И прихватывала суровой ниткой заплаты и думала о своей горькой жизни.

На печи лежала мать Дмитра, маленькая, не больше десятилетнего ребенка, и, не переставая, кашляла:

— Боженька, боженька, пошли мне смерть, чтоб я так горько не мучилась! Ведь я, должно быть, замолила уже все грехи, какие были у меня. Где-то умирают люди, которым только жить бы да жить, добро оставляют, хозяйство, а я будто твердый камень, которого никто не может разбить. Боже, боже, за что мне такая мука? — И задыхалась от кашля.

Возле старухи сидели дети. Когда старуха синела и корчилась от кашля, они глядели на нее широко раскрытыми глазами, показывали на нее пальцами и говорили:

— Гляди, гляди, бабушка уже умирает.

Откашлявшись, старуха говорила детям:

— Где, где, деточки, моя смерть? Забыла она меня.

Дмитру опротивело воевать с рваными сапогами. Швырнул их под скамью и начал ругаться:

— Если б я вас в гроб обряжал, было б легче! Ни обуть вас, ни одеть, ни накормить не наготовишься. Ходите босые, может, вас скорее уберет от меня...

Сел к столу.

— Да, может, ты дала бы мне поесть, хозяйка моя! Ведь знаешь, что у меня сегодня еще крошки во рту не было.

Дмитриха встала и подала ему вареного картофеля. Была запугана, как овца. Дмитро чистил картофелины, макал их в соль и грыз хлеб.

— Уж и кормишь ты меня! Но я тебя так накормлю, что слохнешь! Ну, сварила бы борща, или кулешу, или, ну, хоть черта рогатого, что ли! Сунет картошки — и давись ею! Я уже еле ноги таскаю!

— А что она, сынок, сварит тебе? Масла нет, муки нет. Что она сварит?

— Ваши, мама, разговоры кончились. Сидите себе на печке и кашляйте. Имущества вашего я не проживал, волов и коров не брал — вот и сидите потихоньку. Лучше подумайте, на что я хоронить вас буду. Ждете смерти, как птица дождя, все

твердите: «Боженька, боженька, пошли мне смерть»,— а ведь это тоже на мою голову..

Старуха хотела заплакать, но кашель помешал ей.

— Ей богу, оглохну,— сказал Дмитро.— Гей, ты, сорви-голова, зачем виснешь на полке, хочешь горшки перебить? Чтoб ты навеки повис! — И начал бить мальчика.

Дети заверещали, старуха не переставала кашлять.

— Ой, на эту хату и птица не сядет! — сказал Дмитро.

— Да чего ты к детям привязался, или они виноваты, что сапоги изнасились?

— Ты, собака, наплодила их, да еще лаешь за них! Я вас всех порежу.

Выхватил из-под скамьи сапог и начал бить им жену. Затем натянул на себя тулуп и с порога сказал:

— Чтoб я не вернулся в эту хату!

— Иди, иди, слушай рассказы о Канаде! Думаешь, и я с детьми пойду за тобой на край света?! — крикнула ему жена вдогонку.

Дмитриха топила печь. Дым заполнял хату, ел глаза, и она вытирала слезы.

Старуха на печке стонала:

— Будь лето, не грызлись бы: солнышко всех развело бы по полю,— а так ад в хате. Боже, боже, не держи меня больше на свете! Видишь же, что не стоит мне жить.

Дети бегали по хате. Когда в сенях раздавался стук, они спешили к старухе на печь. Лица их становились подавленными, страдальческими. Они затихали: боялись, что отец будет бить. Но если в хату входил не отец, они опять слезали с печи и скакали по полу.

Так голуби стаяй слетают на ток, а когда хозяин скрипнет дверью хагы, бросают корм и испуганно взлетают в небо.



ПОХОРОНЫ

Впереди оборванный мальчик с беленьким воротником. Он держит черный крест, и все глядят на него. За ним точно такие же мальчики вчетвером несут гроб. На крышке белый тоненький крестик, а самый гроб синий. В изголовье

гроба прибит веночек из желто-грязных цветов, из тех, что растут в городских дворах среди камней. Веночек похож на калачик, какой подает бедный мужик в церкви за помин души.

За гробом плетется несколько женщин. Какая из них молодая, какая старая, по лицам определить нельзя. В руках держат маленькие погасшие свечи. Подмышками несут полуувядшие цветы в горшках с землей, те печальные цветы, которые никогда не видели вдосталь солнца, с одной стороны они грязно-зеленые, а с другой бледножелтые.

Под ногами мокрые камни, в воздухе неподвижный мокрый туман.

Одна женщина плачет, другая говорит ей:

— Когда был здоровым, целые дни играл возле моей будки. Копался один в канавке, что дождем промыта, и выбирал разные камушки. Цыпленок без наседки, право, говорю вам, как цыпленок. Я не вру вам, а правду говорю, что каждый день выбирала черствую булку и звала его к будке. Он садился возле меня и ел. Как он красиво ел! Ручки такие маленькие, он щипал ими малюсенькие кусочки и — в ротик, в ротик. Пускай бог зачтет мне эти булки.

Женщина продолжает плакать.

— Олень доконала его, сырой воздух и холод. Вас целые дни нет дома, а его мучило без вас и замучило. Я заходила к нему и приносила свежие булки, но он уже не ел. То и дело водички ему хотелось. Лежал, как рыбка, и все ротик раскрывал. Потом посинел весь, и пыхало от него пламенем! Будто под ним огонь развел кто, а его косточки, как поленца, кинул, чтоб горели...

Идут, измученные все, вялые, и крестом прорезают серый туман.

— Но он умер, должно быть, от дивана, на котором лежал. Откуда вы такой диван достали? Ей богу, он такой, как могила, из порванных мешков. На таком диване и здоровый может умереть. Я боялась бы этого дивана, если б одна осталась с ним. Убежала бы или изрубила... Нет, я не держала бы его в доме...

— Это диван его отца. Он на нем родился. Это — наследство. Когда перебрался от нас, нам оставил его.

— А где же он теперь?

— Не знаю...

Маленькое шествие сворачивает на соседнюю улицу. Черный крест усеяли серые капельки тумана. Мальчики продрогли, женщины еще плетутся.

Идут серединой улицы, как рваные тени, чужие и не знакомые ни с кем.

Скоро кладбище, но его не видно сквозь серый туман...



С О Н

Он спал крепко.

Лес шумел, стонал; невнятные шепоты срывались с веток и падали вместе с инеем. Падали, как маленькие звоночки.

Ветер выл, словно выгнанный пес.

Небо чистое, неподвижное, а месяц такой ясный, как на рождество.

Работник спал крепко. Головою упирался в ворох заработанной кукурузы — третья часть его, — а ногами касался двух господских ворохов. Черные волосы поседел от инея, рыжая свитка побелела, крепкие руки не чувствовали холода, а опаленное ветром лицо побагровело.

Говорил сквозь сон и с каждым словом выпускал изо рта шоп белого пара. Голос его с ветром шел к лесу и долго бродил там от дерева к дереву:

— Не трогай, это заработанное, ты у меня берешь, хорошего богача нашел...

Поднял кулак, но тот бессильно сполз на сухие стебли.

— Я могу работать, у меня крепкие, как конское копыто, руки. Трахну раз — и дух вон...

Целуй землю, по которой ступаешь: твоя ли она или чужая, ты ею живешь, своя родит, и чужая родит... Верно я говорю, ой, верно. Земля все тебе даст, если она твоя. Она тебя и согреет, и оденет, и накормит, и твою честь сбережет.

Закашлял, словно в большую трубу затрубил.

— Если не имеешь своего поля, то тебе некуда и не по чем идти. Нет, нет, э, нет...

Положил под голову кулак.

— Я долго горевал на чужих полях, но бог помог мне: дай боже так каждому. Взял и дал. На тебе, говорит, кусок земли, но не выпускай ее, держи. Зубами держись за нее, люби, как свою жену, которая сроднилась с тобою...

Шапка сползла с головы и, подталкиваемая ветром, покатилась.

— Панаска, слушай, сними шапку. Ты ведь впервые вышел на свое поле в эту весну. Сними, помолись, так надо. Если бог даст, будет пшеница. Калачей напечем и дадим тем, кому не из чего печь. Дадим, дадим, как нам бог дает, и мы дадим, дадим.

Лег крестом.

— Меже тоже хочется родить колос, межа — тоже земля, она еще лучше. Я тебе после смерти оставляю... Гляди, как скатерть, ровная, только черная. Я тебе накрою в поле этой скатертью стол, и ты будешь есть и молить бога, что имел такого отца...

Весна хорошая, гляди, паши себе, не делай огрехов. Вовлов напой и возвращайся домой до солнца, потому за скотину больший грех, чем...

Проснулся и спросонья услышал свое последнее слово. Глянул на небо, обернулся к шапке, погладила ладонью голую грудь и перекрестился:

— С осени и такая стужа? Еще снегом занесет здесь. Зима, а мне такая хорошая весна приснилась... Гей, Яков! Чисть кукурузу, разве можно так долго спать?!



НОВОСТЬ

По селу разнеслась весть, что Гриць Летучий утопил в речке свою дочь. Он хотел утопить и старшую, но та отпросилась. С тех пор, как умерла Грициха, он очень бедствовал. Один не мог справиться с детьми, а замуж за него никто не шел: дети, беда, недостатки. Два года мучился он с маленькими детьми. Никто, кроме ближайших соседей, не знал, как он живет, что делает. Соседи рассказывали, что он почти всю зиму не топил в хате — зимовал с дочерьми на печке.

А теперь о нем заговорило все село.

Как-то пришел он вечером домой и застал детей на печке.

— Отец, мы хотим есть, — сказала старшая, Гандзуня.

— Ешьте меня. Что я вам дам? Есть вот хлеб, ну и наедайтесь.

Дал им кусок хлеба, и они вцепились в него, как щенята в голую кость.

— Народила вас и оставила на мою голову, чтоб ее земля выбросила. И где только чума ходит, чтоб она голову сломала, к вам не завернет! Этой хаты и чума испугалась бы!

Девочки не слушали: отец каждый день, каждый час говорил так, привыкли. Ели на печи хлеб, и глядеть на них было страшно и жалко. Бог знает, как их маленькие косточки держались вместе. Лишь четыре черных глаза были живыми и имели вес. Казалось, глаза эти тяжелы, как олово, и если бы не они, то тело их полетело бы по ветру, словно пух. И теперь, когда они ели черствый хлеб, казалось, что их кости потрескивают.

Гриць глянул на них со скамьи, подумал: «Мертвецы» — и так испугался, что его осыпало каплями пота. Ему стало тяжело, будто на грудь кто-то навалил камень. Девочки глодали хлеб, а он припал к полу, молился, но его почему-то все тянуло глядеть на детей и думать: «Мертвецы».

Спустя несколько дней он уже боялся сидеть дома, все ходил по соседям и, они говорили, очень тосковал. Почернел, а глаза запали так, что не глядели перед собою, а лишь на каменную тяжесть, которая давила ему грудь.

Однажды вечером он пришел домой, сварил детям картошки, посолил ее и подал на печь.

Когда дети поели, он сказал:

— Слезайте с печки, пойдемте в гости.

Девочки слезли. Гриць надел на них рубашки, младшую, Доцьку, взял на руки, а Гандзуню за руку и вышел с ними. Долго шел лугами и остановился на пригорке. В лунном свете огромной струей ртуты протянулась в долине речка. Гриць содрогнулся: сверкающая вода уже леденила его, и камень на груди стал еще тяжелее. Он задыхался и с трудом нес маленькую Доцьку.

Спускались к речке. Гриць скрежетал зубами на весь луг. Он чувствовал у себя на груди огненный пояс, который жег его сердце и голову. У самой речки он уже не мог идти — побежал, оставив Гандзуню. Та бежала следом. Гриць быстро поднял Доцьку и изо всей силы кинул в воду.

Ему стало легче, и он торопливо заговорил:

— Скажу панам, что не было никакого выхода: есть нечего, топить нечем, ни выстирать, ни голову вымыть — ничего! Я кару принимаю, я виноват, и пойду на виселицу.

Возле него стояла Гандзуня и быстро-быстро повторяла:

— Таточку, не топите меня, не топите, не топите!..

— Раз просишься, не буду, но тебе было бы лучше, а мне одинаково отвечать за одну или за двух... Будешь сызмальства бедовать, а потом пойдешь в няньки к лавочникам и опять будешь бедовать. Как хочешь...

— Не топите меня, не топите!..

— Нет, нет, не буду, но Доце теперь лучше, чем тебе. Ну, иди в село, а я пойду заявляться. Смотри, этой тропкой иди все вверх и вверх, а как дойдешь до первой хаты, войди и скажи, что так, мол, и так, отец хотел меня утопить, но я отпросилась и пришла, чтоб вы меня пустили переночевать... А завтра, скажи, может быть, вы отдадите меня к кому-нибудь ребенка нянчить. Ну, иди, уже ночь...

И Гандзуня пошла.

— Ганна, Ганна, на тебе палку, а то на тебя собака нападет и разорвет.

Гандзуня взяла палку и пошла лугом.

Гриць закагал штаны, чтоб перейти речку, — там была дорога к городу. Вошел в воду по щиколотки и оцепенел.

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Отче наш, иже еси на небеси и на земли...

Вернулся и берегом пошел к мосту.



ДОРОГА

— Я иду, иду, мама!
— Не ходи, не ходи, сынок!

Пошел: дорога расстилалась перед его глазами, ясная и далекая.

Все ворота, все чистые окна — все мимо.

Любил свою дорогу и не сворачивал с нее никогда.

Днем она была бескрайней, как луч солнца, а ночью над нею ночевали все звезды.

Земля цвела и цветами улыбалась ему. Он рвал и втыкал их в свои непослушные волосы...

Каждый цветок ронял ему под ноги жемчужину.

Глаза у него веселые, а лоб ясный, как вода в кринице у полевой дороги.

И вот встретил людей.

Увязая по колени в земле, они в неисчислимом множестве падали и поднимались.

Грязными ладонями стирали с чела пот и руками хватались за землю.

Изнеможение валило их, они давили под собою своих детей и ревели от боли.

Поднимались и падали.

Ночь клала их друг к другу, как камни.

Лежали, обернув страшные лица к небу, — море голов против моря звезд.

Земля стонала под ударами их сердец. А ветер покинул их — убежал за горы.

Он читал на этих лицах великую песню борьбы.

С их губ он ловил слова, с их чела он брал мысли, из их сердец вбирал чувства. А когда солнце родилось в крови восхода и сквозь длинные ресницы целовало их в глаза, в его сердце родилась песня.

Она гремела в его душе, как буря, и колыхалась, как слова матери.

Стал он сильным и гордым. Ветер склонял к нему все цветы.

Шагал своей дорогой дальше.

Она, как полотно, изгибалась под ним.

Проходил мимо всех ворот — чистые окна убегали от него. И вновь увидел людей.

Они стояли толпой. Перед ними — колосистое море золота, за ними — дети в тени снопов.

Огонь палил их, железо плакало в их руках.

Поляные пустыри неба бездушно свисали над ними.

Все в белых рубахах, как на пасху.

Но снопы исчезали из-под детей, и огонь впивался в их белые головы.

Они снова вгрызались в желтые поля.

Постигали их отчаяние и бессилие.

На их лбах одна возле другой залегали глубокие борозды. Губы их высыхали и белели. Сердца обливались желчью.

И песня его души прогоркла, как гнилая пшеница.

Глаза его помутнели, а лоб стал похожим на взбаламученную криничку при дороге.

Сила и гордость его упали на каменистую дорогу.
Он пропитался ядом.
Шел своей дорогой, как птица, которая не слышит своих
крыльев.

На свежей пашне под веселой радугой стояла его любовь.
Земля радовалась ее чистым следам.

Как беспомощный ребенок, протянул к ней руки:

— Иди!

— Не могу: ты отравя.

Зашатался, а когда осмыслил свой приговор, положил на
черную пашню обломки своей песни и побрел дальше. Шел,
как тень от глухого дуба перед закатом солнца.

Дорога потемнела, как перед молодым слепцом.

В один из дней споткнулся о могилу матери.

Заплакал сухими глазами и упал.

Абон зарылся в землю могилы и просил мать, чтоб она
назвала его так, как называла в детстве.

Чтоб сказала одно маленькое слово.

Долго просил.

Потом положил голову на крест и почувствовал холод от
него.

Содрогнулся, поцеловал маленькую яблоньку на могиле и
попелся, безмянный, одинокий.

— Доля, оборви мою дорогу, я уже не могу идти!

И шагал с могилы на могилу, как осеннее перекасти-поле.

А когда оставил за собою сто могил, сто первая была его.

Припал к ней, как припадал когда-то к груди матери.



ПРОВОЖАЛИ ИЗ СЕЛА

На западе окаменела красная туча.

Заря раскинула над нею свои белесые пряди, и туча
напоминала окровавленную голову какого-то святого. Из-за
этой головы прорывались лучи солнца.

Во дворе стояла толпа. От заката, как от красного камня, на лица падал плотный ровный свет. Из хаты еще выходили люди. Их было много, и все они были печальными, будто прощались с покойником.

Последним вышел молоденький парень с остриженной головой. Все глядели на него, и казалось им, что его голова, облитая кровавым светом зари, обречена упасть с плеч... далеко, где-то на цесарскую дорогу. Где-то в чужих краях упадет она под солнцем и будет валяться.

Мать стояла на пороге:

— Ты уже идешь, сынок?

— Иду, мама...

— На кого ты нас покидаешь?

Женщины заплакали, сестры заломили руки, а мать колотилась головою о дверной косяк.

К сыну подошел отец:

— Садись, сынок, на воз, а то на поезд опоздаем.

— Еще эту ночь переночуй у меня, сынок! Я тебя так тяжело выхаживала, дула на тебя, как на рану. Я тебя с восходом солнца провожу и плакать не буду. Переночуй, переночуй, дитятко!

Взяла сына за рукав и повела в хату.

Люди двинулись к воротам.

Мать вскоре вышла с сыном. Лицо у нее было белос, как мел.

— Сынок, — спросил отец, — а мне, старому, кто кукурузу полоть будет?

Люди заплакали. Отец упал головою на воз и дрожал, как лист.

— Эй, идем!

Мать не отпускала:

— Миколаюшко, не ходи! Пока ты вернешься, пороги в хате покривятся, углы погниют. Меня не застанешь уже, а может, и сам не вернешься.

Обняла сына за ноги:

— Лучше б мне в гроб снаряжать тебя!..

Пошли.

Стоявшие у ворот двинулись провожать рекрута.

Шли лесом.

Дорога была устлана осенними листьями. Листья сгибались в медные лодочки, готовые с осенней водою плыть вслед за рекрутом. Лес подхватывал голос матери, нес его в поле и

бросал на межи, чтоб знало поле, что весной Миколай не будет пахать его.

За лесом, в поле, остановились. Рекрут стал прощаться.

— Будьте здоровы, и свои и чужие! Если чем обидел, забудьте и благословите в далекую дорогу.

Все сняли шапки:

— Возвращайся здоровым, да не задерживайся там.

Сын с отцом сели на воз. Мать схватилась руками за колесо:

— Сынок, возьми меня с собою, а то полем напрямки буду бежать и догоню тебя.

— Люди добрые, возьмите ее, а то она руки себе поломает...

Люди силком оттащили мать от колеса, и воз тронулся.

— Будь здоров, Микола! — кричала толпа.

...Ночью старая мать сидела во дворе и охрипшим голосом причитала:

— Откуда тебя ждать? Где тебя искать?..

Дочери, как кукушки, утешали ее. Над ними расстился осенний свод неба. Звезды мерцали, словно золотые цветы на гладком, как железо, току.



УТРАТА

Поезд мчался вдаль. В уголке на скамье сидел мужик и плакал. Чтоб никто не видел его слез, он склонял голову на вышитую суму. Слезы лились, как дождь, как неожиданный дождь, который то припустит, то стихнет на недолго.

Твердый стук колес, словно молотом, бил в мужицкую душу.

«Недавно еще снился мне. Беру я где-то воду из колодца, а он на дне в таком рваном тулупчике, что, господи... Вот вот утонет. «Миколайка, сынок, — говорю ему, — ты что там делаешь?»

А он мне отвечает: «Ой, отец, не могу я в солдатах выжить...» Говорю я ему: «Терпи, да науки набирайся, да сердца своего не погань». Вот и научился...

Большая слеза покатилась вдоль лица и упала на суму.

«Еду к нему, но знаю, что уже не застану его. Да и к кому мне возвращаться? Бежала за мною полем, кровавыми слезами просила, чтобы взял ее. Ноги ее посинели от снега, верещала, будто помешанная. Но я погнал лошадей и уехал от

нее. Может быть, среди поля замерзнет где-нибудь. Следовало взять старую. Что нам теперь надо? Пускай деньги пропадают, пускай скотина с голоду гибнет! Таким трупам, как мы, — зачем нам добро? Сумы пускай сошьет, и пойдем, побираясь, в тот город, где будет миколаева могила».

Прислонился лицом к окну, и слезы потекли по стеклу.

«Ой, старая, вот дождались мы венков на седые головы. То-то, бедная, где-нибудь бьешься головой о стену, плачешь, к богу взываешь!»

Старик всхлипывал, как ребенок. Плач и тряска подкидывали седую голову, словно тыкву. Старику послышался голос его старухи, привиделось, как она, босая, бежит за ним и просит взять ее с собою. А он по лошадям кнутом, кнутом. Лишь стон летит по полю, но уже далеко...

«Наверное, не застану ее. И меня бы с Николаем в могилу. Если не жить нам вместе, так пускай бы уж гнили рядом. Пускай над нами и пес не залаял бы, на чужой стороне все-таки мы вместе были бы. Как он один будет в чужой чужоте?»

А поезд все мчался.

«Вот и плохо, что вырос крепкий, как дуб. За что ни возьмется, бывало, все так и горит в руках. Надо бы маленькому отрубить одну...»

Поезд подбежал к большому городу.

Старик вышел вместе со всеми и очутился на улице один. Стены, стены, а между ними дороги, а над дорогами на один шнур нанизаны тысячи огней. Огни утопали в полутьме, дрожали. Вот-вот упадут, и будет черный ад.

Но огни вращались во тьму светлыми корнями и не падали.

«Ой, Миколайка, хоть бы мертвого увидеть тебя. Мне тоже, сынок, будет аминь здесь!»

Сел у стены. Суму положил на колени. Слезы уже не падали на нее. Стены шли одна к другой, огни сливались и играли цветами, как радуга. Окружили мужика, чтоб хорошенько разглядеть его, — ведь он пришел сюда из далекого края.

Начал накрапывать дождь. Старик еще неутешнее сгорбился и стал молиться:

— Мать Христова, ты всем добрым людям защитница. Микола святой... — и бил себя кулаком в грудь.

Подошел полицейский и указал дорогу к казарме.

— Служивый, это здесь умер Никола Чорный?

— Он повесился за городом в ольхах. Теперь лежит в мертвецкой. Идите этой улицей вниз, там вам кто-нибудь покажет.

Солдат пошел дальше. Мужик лежал на камнях и стонал.

Когда боль отлегла от сердца, зашагал вниз. Ноги дрожали, словно простуженные, и спотыкались.

«Сынок, сынок, погубил ты себя. Скажи мне, сынок, что тебя в гроб загнало? Зачем ты душу загубил? Ой, привезу я маме весточку от тебя. Пропадем ни за что».

В мертвецкой, на большой белой плите, лежал Микола. Волосы его были залиты кровью. Макушка головы отстала, как скорлупа. На животе был крест — крест-накрест разрезали и зашили.

Отец упал на колени, молился, целовал ноги сына, колодил головою о плиту.

— Ой, дитяtko, мы с матерью к твоей свадьбе готовились, музыкантов нанимали, а ты ушел от нас...

Потом он поднял сына, обнял его за шею и, как бы советуясь, спрашивал:

— Скажи, сколько обеден заказать, сколько бедным раздать, чтоб бог тебе грех простил?..

Слезы падали на труп, на белую студеную плиту. Старик с плачем развязал мешок и стал одевать сына в последнюю дорогу: надел белую вышитую рубаху, шапку с павлиньими перьями и подпоясал вышитым поясом. Полотняную суму положил под голову. У изголовья поставил свечку, чтоб горела за погубленную душу.

Такой ладный да красивый парень в радужных перьях! Лежал на стьлой мраморной плите и как будто улыбался отцу.



ЗАСЕДАНИЕ

Выборные не спеша сходились в сельскую канцелярию. Каждый, прежде чем войти, сморкался в сених, вытирал нос полою полушубка и приглаживал его ладонью. Каждый выходил на люди так: «Славайсу», «Навеки слава», — и садился на стоявшую вдоль стены скамью.

Выборных было уже около половины. Старшие сидели ближе к столу, молодые немного поодаль. В углу, возле печки, ворохом лежали сенники, а около них стояла черная жестяная банка. Это был госпиталь. Раз или два в году доктор писал обществу, что тогда-то будет в селе. Староста вызывал полицейского Хому:

— Ты, браток, должен завтра прибрать канцелярию, пришло, видишь, письмо, что доктор приедет. Вымоешь немного пол, посыплешь песком, разложишь по полу сеники, накроешь их мешками, нальешь по углам вонючей воды из банки... ну, и замажем глаза. Есть приказ, что должен быть херный госпиталь, значит, так тому и быть!..

Полицейский раза два в году делал из канцелярии госпиталь. Выборные на совещаниях долго чихали потом и говорили: «Ну и паскудно же воняет». Те, что были в солдатах, говорили, что доктор, наверное, делал «реперацию» и усыплял, оттого, мол, так и вертит в носу. А Павло Дзинь чувствовал себя хорошо: он все дремал на совещаниях. Когда кто-либо чихал от госпитального запаха, раздавались голоса:

— Павло слаб на голову: мы все чихаем, а он спит. Надо сказать доктору, чтобы не усыплял нам выборных, а то все наше совещание никуда не будет годиться.

Павло не защищался, только глядел испуганными глазами на выборных, и лицо его становилось еще темнее. Выборные считали его дурачком и всегда смеялись над ним.

Они сидели на скамье и разговаривали неторопливо, лениво. Каждый сидел так, как ему было удобней, как привык сидеть. Иван Плавюк, что сидел у самого стола и был самым старшим, склонился, молитвенно сложив на животе руки, и плевал, покуривая трубку. Ладони, нос и колени его были в близком соседстве. Так сидел он и говорил о ярмарке.

— Чтоб мои глаза не видели таких ярмарок, как нынешние. Торговцы с панами весь свет заплонили. Кто продает? Торговец. Кто покупает? Пан! А народ где-то в сторонке что похуже продает: теленка, коровку... То, се, а волов совсем уже мало...

— Да, тяжело жить стало. А каждый думает: куплю теленка, выхожу, иногда мякины запарю ему, тыкву кину, глядишь, и вырастет на отбросах. Тяжелые годы пошли...

— Правда, что тяжелые. Когда-то, бывало, попы покрикивали на народ, чтоб не пил и не пускал на ветер денег, а теперь, видите, народ и не пьет и не тратит попусту, а крейцера не видит. Совсем народ обнищал, даже на пасху мало кто сало имсет. Так тяжело, говорю вам, как под камнем...

— Все переменилось. И скотина уже не та. Теперь скотина пошла пестрая... тирольская, а прежде была белая. Я еще не такой старый хозяин, а за женою взял таких белых волов, как снег, а рога были у них такие, что в ворота не проходили... Эх, бывало, и бегали, как кони. Когда ездил в город,

зануздывал. Говорили, то была скотина венгерская, а теперешняя, говорят, тирольская. И дешевле была скотина, куда-а-а...

— Дешево продавали, да дешево и покупали, но лучше было. Смотрите, не только рогатый скот переменялся, свиньи разве такие были? Были всякой масти, шерсть длинная, ноги жидкие, а теперешние свиньи все белые и гладкие. Как станешь на свином базаре, земля ими, как белым цветом, усеяна. Только поляки толстопузые похаживают между ними.

— Да, всякая есть порода. А разве люди все одинаковы? Как-то был я в Коломые, смотрю, идет какой-то такой, как черт, прости господи. Лицо все черное и руки. Думаю про себя: «Да этот если встретит ночью на мосту, то каждому потом надо молебн с водосвятием служить». Ей богу. Какой-то барин говорил, будто есть такие люди на земле...

— Да уж верно, всякая порода есть. Мой Василь, когда служил в Вене в солдатах, видел таких свиней, что ни ушей, ни рыла, ни ног не видно, — одно туловище...

— Все на свете бывает, а беды больше всего.

Беседу прервал приход старосты.

— Ну что, староста, слышно в городе?

— Если б деньги, то в городе хорошо было бы. Вижу, господа, знай, заходят в ресторан да пьют, едят что получше и деньги имеют. Хоть бы на неделю сделаться паном, — сказал староста.

— Это еще смотря каким паном. Есть такие, что на соломе спят и зубами вшей ищут. Сверху жилетка, а рубахи нет. Нацепит на грудь немного полотна — и нарядился. Не один такой голодает и готов жмых есть, — сказал Проць, служивший когда-то у барина.

— Был я у секретаря насчет выгона. Болтал он мне о чем-то, болтал да и говорит: «Если б в вашем селе люди меньше газет получали. Это, — говорит, — мошенничество. Мужиков очень много, — говорит, — если двадцатая часть их даст по леву¹ на газету, то соберется денег тысячи тысяч. Какой-нибудь молодчик, — говорит, — все сам напишет, туману подпустит, умастит, загладит, а глупые мужики, — говорит, — читают и облизываются: надеются, что панское поле к народу перейдет».

— А вы, наверное, стояли да поддакивали? — спросил молодой выборный Петр Антонов.

— Нет, брал его за грудки из-за какого-то там голодранца, что мутит людей! Хорошо поп из Грушевой говорил, что на-

¹ Лев — рубль.

род слушает всяких арестантов, верит им, а потом в случае чего сам же, глупый, в тюрьмах сидит, а те, что подбивали его, исчезли — и след простыл. Мало разве покалечили нас? Я только не люблю, когда меня поддеть хотят. Разве я общество продал или изменил ему? Разве я лезу вперед на выборах? Выбирайте, кого хотите, я стою в стороне.

— Вы лезли бы, но мы кричим: тю-у... Вы б перед выборами и детям колбасы принесли домой, — сказал Петр Антонов.

— Молчи! — закричал староста. — Молчи, а то велю закопать тебя, ты, сморкач! Глядите, хозяева, или я с ним свиней пас?

— Вы у меня под носом не вытирали, а моим словам можете так же поддакивать, как поддакивали секретарю.

Ссора готова была перейти в драку, и старый Иван вмешался:

— Ты, Петро, не будь умнее всех: ты, брат, молодой и должен старшему уступить. Один человек ничего не боится, а другой боится. Я, хозяева, всегда за общество стоял и стою, но, ей богу, на ваше собрание не пошел бы. Как-то осенью был я в городе. Встречает меня один и говорит: «Идите на собрание, хоть на старости поглядите, как мужики объединяются». Говорю я ему: «Ей богу, я не пойду. Оно хорошо, что объединяются, общество, как говорится, — большая сила, но я не пойду. Я, — говорю, — вырос и поседел, но в тюрьме и часа не сидел. А теперь, на старости, зачем мне это бесчестье? Чтобы каждый ребенок в селе показывал на меня: «Смотри, дядя Иван в тюрьме сидел». Не пойду — и не пойду. Мой Микола ходит, а я не пойду...

Кое-как Иван унял ссору, но староста и Петр были еще сердитыми, и он, чтобы они вновь не сцепились, сказал:

— Мы вот болтаем, болтаем, а вы, староста, не говорите, за чем создали нас.

— Скоро я не буду сзывать вас, отбуду свое, плюну на должность, пускай у вас сморкачи будут за старосту.

— Или вы думаете, мы старосты не найдем? Мы на всю округу старост поставлять можем, — не удержался Петро.

— Что-то церковный совет хотел сказать выборным, — объявил староста.

Член церковного совета Василь начал говорить:

— Вот не знаю, не то в четверг, не то в пятницу прибежал ко мне сын писаря. «Ой, — говорит, — дядька, я видел, как старая Романиха из-под церкви доску тащила...» Пошел я на другой день к церкви, действительно, одной доски нет. Это еще

из тех, что от колокольни остались. Правда, они уже погнили, но разве можно церковное трогать? И подумать только, такая старая женщина, а берет чужое. Пошел я к попу и рассказываю, а поп говорит: «Надо выборным сказать, нельзя допускать, чтобы церковь обворовывали». Я бы, пес с ним, ничего не сказал, кабы оно мое, но ведь церковное, его надо беречь, — жаловался Василь.

Все молчали: никто не ожидал, что старая Романиха — воровка, никогда не было слышно, чтоб она воровала.

Через минуту вошла Романиха. Старая, оборванная, с синим лицом, она стала у двери и быстро сквозь слезы заговорила:

— Я, хозяйева, украла эту доску, да, украла, для того, чтоб вы узнали, как мой сын на старости заботится обо мне. Да я в хате клочка соломы не имею, чтоб протопить. Я сижу на печи и замерзаю. Всему селу шью, пряду, пальцы мои коченеют. Глаза мои уже загноились. Немного еще зарабатываю, чтоб с голоду не умереть, а на топливо нет ни крэйцера. Я своему сыну все до крошки отдала, себе только один угол оставила, а он ко мне даже раз в месяц не заглянет. Вошел бы и спросил: «Бес или черт, что ты делаешь?» Так нет...

— Значит, надо у церкви красть? Вам, бабушка, уже недолго жить осталось, надо помнить о том свете. Вы старая женщина, и я скажу, чтоб вас не запирали в холодную, не били, а вы дадите один лев на церковь. И ступайте себе с богом, и чтоб больше я не слышал ни о каком воровстве, — рассудил староста.

Романиха кинулась к столу, как ошпаренная:

— Ой, староста, да я умру, а столько денег не буду иметь. Где у меня деньги? Где? Где?

— Должны, — ответил староста.

Выборные молчали, — знали, что Романиха очень бедствует и денег у нее нет. Но ведь она украла, — что правда, то правда, — да еще украла церковное! Они уже хотели посоветовать ей, чтобы она вносила по шистке, по две, когда заговорил Пстро Антонов:

— Я, люди, считаю, что такую бедную вдову нельзя так наказывать. Церковь, пожалуй, не согреется вдовьим левом. Говорят, что когда-то церкви проваливались и на их месте оставались бездонные озера. Если бы таких вот кровавых вдовьих левов набрать и положить в церковную кассу, то, должно быть, ни одна церковь не выдержала бы вдовьих слез. Это было бы против правды. Вместо того, чтобы церковь дала старухе, брать

у нее эти несчастные деньги? Я как-то заходил к Романихе за пряжей. Вхожу, а у нее в хате холодище, как в сарае. На шестке горит каганец, — огонек, как пшеничное зерно, — только и всего. Старуха сидит, трет окоченевшие пальцы. Я считаю, хозяйева, нельзя требовать, чтоб она платила...

Староста злобно глянул на Петра.

Выборные вздохнули, будто с их сердца свалился камень.

Все в один голос заговорили, что не надо старухино леву.

И старый Иван сказал:

— Пускай бог сохранит!

Потом велели позвать сына старухи, и старый Иван принялся стыдить его.

— Человече, ах, человече, ведь она тебя маленького в поле берегла, твоя для тебя искала. Она тебя обмывала, и обшивала, и плакала, когда ты в солдаты шел, а ты ей клочка соломы не бросишь? Ой, если б я был старостой, я б тебя до страшного суда в цепи заковал, — усовещевал Иван.



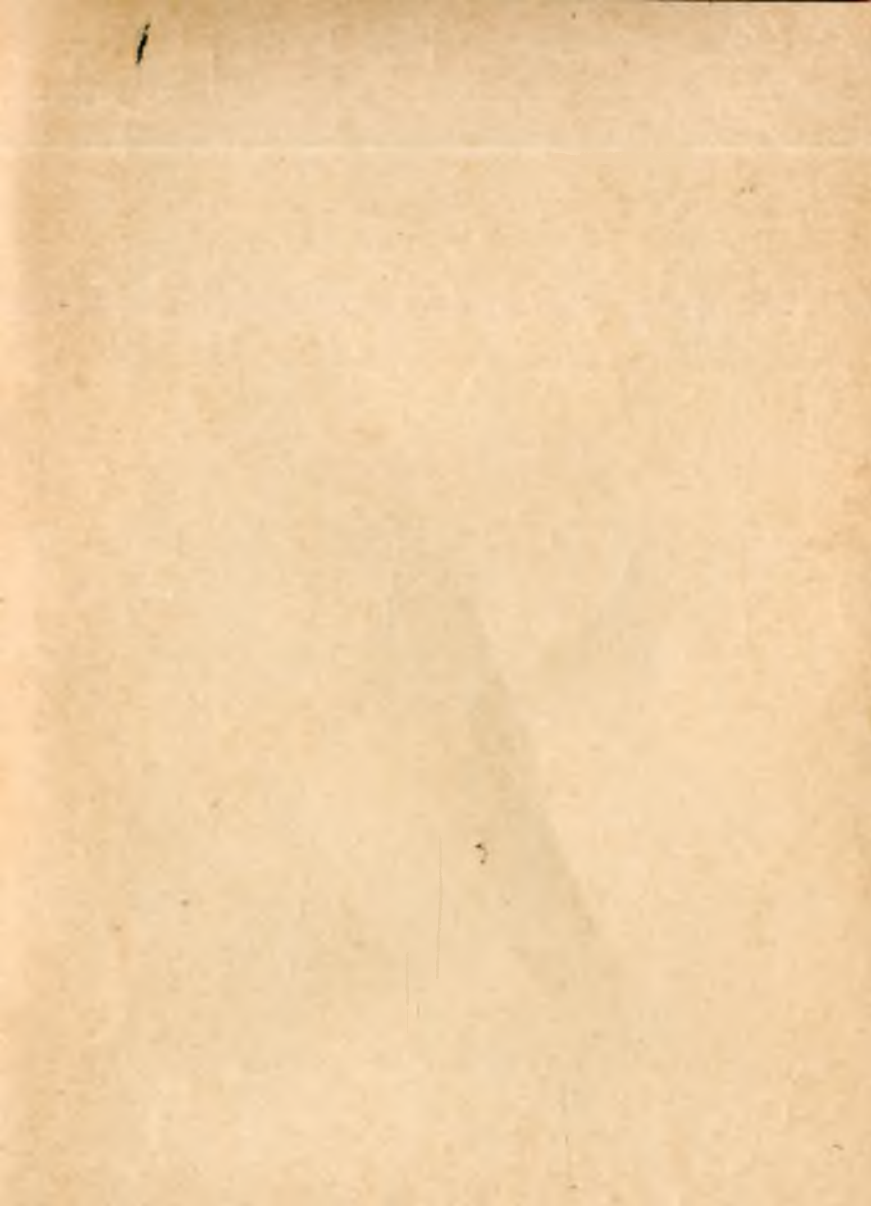
СОДЕРЖАНИЕ

М. Рыльский. Предисловие	3
Май	5
Синяя книжечка	8
Озимь	10
Катруся	11
Беда	15
Семья Леся	16
Вестники	19
Осень	21
Похороны	23
Сон	25
Новость	26
Дорога	28
Провожали из села	30
Утрата	32
Заседание	34

Редактор — Г. ЯРЦЕВ.

А 00648. Подписано к печати 7/IV 1954 г. Тираж 150 000. Заказ 651.
Изд. № 330. Формат бумаги 70×108³/₄. 0,62 бум. л. — 1,71 печ. л.

Типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, ул. «Правды», 24.



Дер 495

Цена 50 коп.



БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 16

1954



В. СТЕФАНИК

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА